

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

УДК 342

ПОСЛЕДСТВИЯ И ОЦЕНКИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ И ПЕРВЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АМЕРИКЕ И ФРАНЦИИ

канд. юрид. наук, доц. А.Н. ПУГАЧЕВ
(Полоцкий государственный университет)

Революционные преобразования и опыт первых конституций показаны в сравнительном анализе французских и американских событий. Основное внимание уделяется здоровым оценкам европейских консерваторов изучаемой эпохи Э. Бёрка, Л. де Бональда, А. де Токвиля, Ж. де Местра, представителям исторической школы права. В противоположность им – взгляды Р. Прайса, Т. Пейна, И. Форстера, К. Шубарта. Учтено мнение современных мыслителей: Р. Нисбета, Дж. Сола, П. Бьюкенена, М. Новака, И. Солоневича, И. Шафаревича. Представляет интерес акцент на личностном факторе вождей французской и американской революций. Показаны особенности становления конституционных систем по «эволюционному» и «революционному» путям развития. Изучается феномен Конституции США. Показан масштаб выдающейся личности той эпохи – Т. Джефферсона. Устанавливается, каким образом развитие революционной ситуации и первые конституционные преобразования повлияли на политическую жизнь Речи Посполитой и Российской Империи, дальнейшее развитие мировой истории.

Введение. Сравнительный анализ французского и американского опыта революционных преобразований и первых конституций показал, что эти события ярко высветили проблему соотношения разума и социальной действительности, разума и предрассудков, разума и традиции. Идеи предшественники и деятели французской революции активизировали радикальные и прежде всего буржуазно-демократические силы, стремившиеся покончить с сословным неравноправием и деспотизмом во многих странах Европы. В этот период возникает целая плеяда политических мыслителей и публицистов, находившихся под впечатлением от происходящих событий. Но не все восторженно восприняли радикальные преобразования. В Англии это вызвало воинствующую реакцию правящих кругов, получившую наиболее яркое литературное воплощение в творчестве Э. Бёрка. Во Франции в разгар революции и все последующие годы доктрину консерватизма отстаивали Ж. де Местр и Л. Де Токвиль. В Германии, где сохранялся феодальный строй, идеи и практика революции нашли самое ожесточенное отторжение. Политические и научные оценки «выставляла» историческая школа права в лице Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г. Пухты. Уже тогда большинство мыслителей поневоле сравнивали французский и американский опыт, а споры о той эпохе не утихают и сегодня. История имеет свойство повторяться, и не всегда в виде фарса.

Основная часть. Два исторических документа были приняты летом и осенью 1789 года в разных странах с перерывом всего в один месяц: французская Декларация прав человека и гражданина – 26 августа, а американский Билль о правах – 25 сентября. Обе основывались на доктрине естественного права и других философских источниках Просвещения в то время, когда французский и американский подходы были близки и совместимы. Конституция США была принята в 1787 году, а французская – в 1791, но всего лишь четырехлетний «зазор» выявил всю разницу в развитии событий. Совсем скоро пути двух революций разойдутся окончательно, но их предыстория и взаимопереплетения представляют исключительный интерес для констатации вытесненного в заголовке «POSTFACTUM».

Ранний период франко-американских отношений был сложен и даже в чем-то парадоксален, отмечает Х. Синкотта [1, с. 20]. В 1776 году, в момент американской революции, Франция была как центром просветительской мысли, так и домом наиболее могущественной монархии Европы, Бурбонов и их блистательного версальского двора. Тем не менее Франция заключила военный союз с взбунтовавшимися американскими колониями, чтобы одолеть общего врага – Великобританию. Для французских подданных «старого режима» Америка стала воплощением, пусть не абсолютным, их просветительского идеала свободы от цензуры, естественного права и рациональной реформы правительства. Вернувшиеся из Северной Америки добровольцы, сражавшиеся на стороне колонистов (среди них был и Тадеуш Костюшко – национальный герой Америки, Франции и Речи Посполитой), своими рассказами смущали умы чрезвычайно. Оказывается, люди могут жить и без короля, церковников и дворян – в растревоженной Франции начинается закономерное революционное брожение. Процесс пошел. Что удивительно, идеологи Французской революции «игнорировали» уже имевшийся позитивный американский опыт. Например, самая популярная брошюра предреволюционной Франции «Что такое третье сословие?» аббата Сийеса [2] ни словом не упоминает Американские прогрессивные нововведения (Декларацию прав, Конституцию, Учредительное

собрание и др.), которые точь-в-точь предлагает создать во Франции автор – один из самых влиятельных политических лидеров. Тому есть свои объяснения, но сейчас не о них.

Здесь отметим важный момент. «Существует расхожее представление, – пишет Дж. Р. Сол, – что революция во Франции вызвала гораздо более сильные изменения в обществе по сравнению с американской. Последующая нестабильность положения во Франции, как полагают, стала результатом этих резких изменений. Но если мы говорим о глубоких социальных изменениях, то анализ ошибочен. *Во Франции реальная революция уже происходила постепенно, в течение предыдущих двадцати лет* (курсив наш. – А. П.)» [3, с. 91]. Автор убедительно доказывает, что новый интеллектуальный и административный класс во Франции задолго до революции формировался в духе рационализма, свидетельством чему явились военные и финансовые реформы. Что касается божественного происхождения королевской власти, против чего официально и выступила Революция, то в эту сказку уже давно никто не верил (слабохарактерный и глупый пьяница Людовик XVI – помазанник Божий?). Да и как в это можно было верить, когда большинство представителей правящей элиты едва верило в Бога. Вполне понятно, что они не верили в активного, практикующего Бога.

Как бы то ни было, спустя десятилетие американцы (ревностные христиане-протестанты) восторженно приветствовали начальную фазу Французской революции – созыв Генеральных штатов, штурм Бастилии и создание Национального собрания. Однако возгласы радости быстро смолкли с казнью Людовика XVI и наступлением царства террора. Консервативное федералистское правительство в Вашингтоне было потрясено насилием: «Во Франции были посеяны зубы дракона, и они взошли монстрами», – приблизительно так воскликнул второй Президент США Джон Адамс. А мы напомним, что революционеры являлись лишь продолжателями процесса, а не его инициаторами.

В то же время зарождающаяся политическая оппозиция в Соединенных Штатах, руководимая Томасом Джефферсоном, продолжала еще какое-то время поддерживать французский республиканизм. Идеализация Америки французскими реформаторами сменилась идеализацией Франции американскими республиканцами. Но якобинский кошмар отрезвил всех. В письме к Джефферсону деятельница французского Просвещения мадам д'Идето писала: «Характерное различие между вашей и нашей революциями состоит в том, что вам нечего было разрушать, и потому вы не принесли никакого ущерба» [1, с. 20]. Конечно, французская и американская революции разительно отличаются друг от друга, но Билль о правах и Декларация прав человека и гражданина провозгласили права и свободы личности, сохранившие свое значение и сегодня, когда во многих странах конституционный процесс еще ждет своего продолжения.

Французский политолог и государственный деятель Алексис де Токвиль, размышляя над тем, почему в Новом Свете демократические политические институты развиваются столь стремительно и успешно (с этой целью он совершил многолетнюю поездку в США), а в Европе этот процесс медленный и мучительный, пришёл к выводу, что эмигранты из Старого Света начинали отстраивать свою жизнь, не обремененные старыми предрассудками, поэтому «... обосновавшись в Америке в начале XVII века, они каким-то образом смогли отделить демократические принципы от всего того, против чего они боролись в недрах старого общества Европы, и сумели перевезти эти принципы на берега Нового Света. Там, произрастая свободно, в гармоническом соответствии с нравами, эти принципы мирно развивались под сенью законов», а в Европе было уничтожено все ценное от прошлых времен, кроме пороков старых предрассудков, в результате чего «честные и просвещенные граждане стали врагами всякого прогресса... а люди, лишенные нравственности и чувства патриотизма, объявляют себя апостолами цивилизации и просвещения» [4, с. 34, 33]. События в Америке он называл великой демократической революцией.

Токвиль отмечал уникальность Французской революции, но отрицал наличие какой бы то ни было связи между нею и Американской революцией. Аналог первой он видел в религиозных бунтах прошлого, разрушениях и массовых убийствах, а второй он всегда приписывал политически прогрессивный характер. Он отмечал, что Французская революция, без сомнения, самая оригинальная по своему языку и символике. Своими декларациями, манифестами, преамбулами к законам, красноречием строф и яркими образами, которые должны были дойти до каждой городской площади, она продемонстрировала совершенно новый тип революции. Токвиль обвинял французских революционеров в отсутствии практического политического опыта, интереса к истории, увлечении прожектёрством. Будучи консерваторм, он был последователен в своих взглядах всю жизнь. Напомним, что «для консерваторов не бывает прав естественных, данных от природы, все права индивидуума на деле производны от законов, из чего и вытекает необходимость принимать такие законы, которые были бы идентичны для всех и адекватно воспринимались всеми индивидуумами. Как только применение закона попадает в зависимость от тех или иных обстоятельств или категорий, он перестаёт заслуживать имя закона» [5, с. 40].

К моменту написания своих трудов (середина XIX века) Токвиль располагал обширной библиографией, описывающей события в Европе конца XVIII века. Без труда можно определить первого автора, давшего анализ предпосылок и основных событий Французской революции. Уже в 1790 году в Англии Эдмундом Бёрком написана работа «Рассуждения о французской революции». Современный автор Р. Нисбет заметил, что «в истории философии тяжело найти систему идей, которая бы настолько сильно зависела

от одного человека и одного события, как современный консерватизм зависит от деятельности Э. Бёрка и его горячей реакции на Французскую революцию» [6, с. 9]. Применительно к нашему предмету исследования взгляды Бёрка представляют ценность и потому, что он постоянно сравнивает французский и американский опыт, соотнося его с английской политической традицией. Искренним последователем Бёрка был А. де Токвиль, но многие идеи были им творчески переработаны. В своей книге *«Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию»* [7] (полное название произведения) Бёрк сразу же недвусмысленно высказывает своё негативное отношение к Французскому Просвещению и самому Руссо, чей талант Бёрк признавал, но моральные и политические взгляды которого считал в высшей степени недопустимыми. Вышедший в печати трактат многие нарекли «политическим евангелием всех врагов революционного движения во Франции и теоретиков реставрации» [8, с. 160]. Наиболее отчетливо это проявилось в полемике Э. Бёрка с И. Форстером (1754–1794) – одним из выдающихся литературных и культурных деятелей Германии XVIII века. Как и многие в Европе, И. Форстер с недальновидным энтузиазмом воспринял революцию.

Например, в письмах к Гейне (другому, поэт еще не родился) июля 1789 года он пишет: «Радостно видеть то, что философия взрастила в умах, а затем осуществила в государстве; да и не было еще примера, чтобы столь полная перемена стоила так мало крови и опустошения. Стало быть, это все же вернейший способ разъяснить людям их подлинную выгоду и права; остальное тогда произойдет как бы само собой...» [8, с. 419]. Поразительно, что и после якобинского террора И. Форстер так ничего и не понял. В письмах к жене от 24 октября и 6 ноября 1793 года этот «просвещенный», но не прозревший мыслитель убежден: «... Теперь мы уничтожили Вандею и так будем истреблять все, что станет нам сопротивляться. [...] Лава революции льется величественно и ничего более не щадит. Кто может остановить её? [...] Если ты поймешь, что революция является поводом и подготовкой к лучшему будущему, то тебя не смутит то, что в ней есть ужасного» [8, с. 457]. Многие незаурядные умы Европы находились в стадии помешательства, но Э. Бёрк был последователен и пребывал в общественно-интеллектуальной оппозиции.

Когда Бёрк выступил с призывом воевать «единым фронтом» против Французской революции, его обвинили в беспринципности. Дело в том, что ранее он горячо поддерживал колонистов Америки и других борцов против тирании, а сейчас недоумевали, почему им отрицается право французов освободиться от монархического деспотизма. Бёрк же доказывал, что Американская революция отвоёвывала свободу для реальных людей, которые живут по своим традициям и обычаям, от «деспотической власти» британского правительства (то же самое он говорил в отношении ирландцев и индийцев).

Якобинцев он считал агрессорами для истории и традиций Франции. Действуя как «завоеватели», они учиняли насилие над французским народом как «оккупационное войско», создавая прототип «Революционного Человека» (напомним, что работа была написана в 1790 году, то есть до периода массового террора). В это время даже в Англии (Р. Прайс, Т. Пейн) имело место мнение о том, что Французская революция по существу повторяет революцию Американскую, поскольку обе их характеризует борьба за свободу против угнетения. Однако Бёрк был непреклонен. Он доказывал, что французскую революцию определяла скорее борьба за абсолютную власть, чем за свободу; её вели политические доктринёры, которых, в отличие от американских реформаторов, общество вообще не интересовало. Через 100 лет позицию Бёрка поддержал О. Кошен, развеявший миф о якобинском патриотизме: «У этого политического энтузиазма два вида: самопожертвование ради идеи, которую пламенно принимаешь, – это вера; и принесение в жертву этой идее других людей – это фанатизм. Якобинский патриотизм – второго вида. Никогда и никакое политическое рвение не ценило так мало человеческие жизни – и в то же время веры не становилось больше: напротив, её нет. [...] Якобинский патриотизм – лишь ветвь философской морали, [...] основанной на великом принципе самолюбия» [9, с. 230–232]. Как и английский философ, Кошен особое внимание уделяет источникам и методам изучения актов революционного правительства.

По мнению Бёрка, тотальный и глобальный характер Революции наиболее полно проявился в законах, направленных на разрушение либо значительную трансформацию традиционного общественного строя и одновременно на заполнение того вакуума, который может возникнуть в результате изменений в государственной политике. Но ещё более опасным является неприкрытое желание якобинских лидеров распространить «пламя революции» на всю Европу, а затем и на весь мир. Он подчёркивал, что война должна вестись не с Францией, а с якобинством, от которого не отгородишься стенами. Как же всё это напоминает 1917 год, только якобинство сменилось большевизмом, а в остальном – то же самое: «Многие жестокие ухватки Французской революции были ученически повторены на теле России коммунистами-ленинцами, интернационал-социалистами – только их организованность и системность были много выше якобинских» [10, с. 460]. Многих европейских интеллектуалов развитие событий во Франции заставило изменить свое мировоззрение. Например, Кристиан Шубарт (1739–1791), поэт, мыслитель, журналист в 1789 году восторженно приветствовал начало революции во Франции, последовательно отмечая в своей хронике ее успехи. Но уже в 1790 году в статье «Всеобщий заговор» от эйфории ничего не осталось, только – горечь и отчаяние: «Говорят, что план такого заговора состряпан в аду Адрамелехом и Молохом, передан клубу пропаганды в Париже и теперь будет распространен по всей Европе.

Свобода и равенство – главные колеса этой адской машины. Обманщикам народа нужны эти приманки, чтобы подстегивать обезумевших глупцов, которые должны разрушить всякий порядок и в своем ослеплении стать политическими самоубийцами. Обманщиков легко узнать по тому, что они высмеивают религию и законы и, как немецкие крестьяне в эпоху злополучных крестьянских войн, проповедуют общность имущества. Итак: долой финансы! долой религию! долой законы! Мудрый, благочестивый и честный станут добычей проходимцев, богохульников и плутов! Этот адский замысел имеет целью смутить всю Европу, пошатнуть все троны, сломать все скипетры, опрокинуть все права, а самим исполнителям поможет избежать осуждения и смерти во всеобщем пожаре.

Сотни раз писали мне об этом из Германии и из Франции, и я не верил. Я читал это напечатанным черным по белому и не верил: таким одержимым я не мог представить себе человечество. Но теперь я убежден, что такая черная банда действительно существует, что они, подобно дьяволам Мильтона, собираются в пандемониуме и похваляются друзьями во всех европейских странах. И теперь на мне лежит долг предостеречь многочисленных читателей моей хроники от этих дьяволов, которых узнают по серному запаху, и снова призвать немцев, моих дорогих братьев, чтобы они превыше всего ставили религию и общественный порядок и, под сенью мягких законов, жили тихо и спокойно, блюдя благочестие и пристойность» [8, с. 137–138]. Как видим, для умственно-духовного перерождения К. Шубарта – от наивного социалиста к законченному консерватору – хватило одного года.

Во время революции многие представители французской элиты эмигрировали в Германию, одним из них был Луи Габриэль Амбруаз де Бональд (1754–1840), последовательно отстаивавший традиционалистскую концепцию государства и права [11, с. 270]. Его главное сочинение *«Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе»* (1796) было написано в немецком Гейдельберге. Характерный эпизод. Избранный пэром Франции в 1820 году, он отказался от этого звания в 1830 году, чтобы не приносить присяги власти, «рожденной на баррикадах», и сохранил за собой титул члена Французской академии. Он очень много писал, редактировал с Шатобрианом ряд консервативных газет. В его трудах консервативная мысль стала системой, где религиозные, социальные, политические, правовые аспекты рассмотрены в неразрывной взаимосвязи. Революцию Бональд осудил сразу, видел ее лишеной всякого смысла. Он был уверен, что старый порядок имел солидную институционную и традиционную базу для широкого политического обновления французского общества без жертв и крови. Идеализируя королевскую власть, Бональд все больше впадает в крайности, предпочитая не видеть и не понимать того, что старым порядкам приходит конец не только в горячо любимой им Франции, но и во всей Европе. Его последователи обнаружили лишь в Российской Империи, столетием позже пережившей трагедию, сродни французской конца XVIII века. От де Местра взгляды Бональда отличались тем [12, с. 122], что последний рассматривал общество как функциональную целостность, тогда как теократ де Местра в отношении между людьми видел склонность к хаосу, который может прекратить лишь абсолютный правитель – страж всего общественного порядка.

Оценки консерваторов по существу проблемы не претерпели изменений и в наше время. Патрик Дж. Бьюкенен неумолим: «Франция вняла призыву бумагомарателей. Монархия рухнула. Людовик XVI, Мария-Антуанетта и французские аристократы отправились на гильотину. Церковь лишили имущества и разграбили. Разум восторжествовал над верой и привел к сентябрьской бойне, террору, Робеспьеру и диктатуре, Бонапарту и империи, а также к затянувшейся на четверть столетия паневропейской войне, из которой Франция вышла обессиленной и раздробленной» [13, с. 361]. Современный, но уже либеральный мыслитель А.П. Никонов [14, с. 15] напоминает о том, что великая польза революций состоит в том, что они провозглашают многое из того, что придумывают великие гуманисты и просветители. Они открывают миру новые горизонты, ставят красивые идеи и создают социальные лифты, возгоняющие молодые таланты. А великий ужас революций состоит в том, что ростки благих деяний поливаются морями крови.

Очень точен в своих оценках Джон Р. Сол, когда выясняет, почему результаты революции во Франции были более негативные, чем в Соединенных Штатах: «Во-первых, Америке повезло с революционными лидерами. Во-вторых, в отличие от Франции, Америка не стремилась воплотить до конца республиканские идеалы. Оценка Вашингтона как руководителя почти полностью соответствует вольтеровскому определению доброжелательного монарха, за исключением названия титула» [3, с. 93]. Акцент на личностном факторе нам представляется очень важным. И об этом – подробнее.

Справедливости ради надо сказать, что, если бы во главе Соединенных Штатов не стояли Вашингтон и Джефферсон, развитие страны пошло бы по другому пути. Трудно предположить, «по какому руслу направилось бы революционное возбуждение, и стала ли бы страна развиваться в направлении разума, если бы ее не возглавили спокойный по характеру первый президент, обладавший безукоризненной честью и ограниченными амбициями, и третий президент, который, вдобавок ко всему, был наделен гениальным воображением и спроектировал республику разума» [3, с. 93]. Несомненно, что этим людям удалось сдержать в республике накал революционных страстей. Опыт Франции показывал, что могло бы произойти. Джефферсону не понаслышке было известно о событиях во Франции, так как он в 1785–1789 годах занимал там пост американского посла и имел безусловный авторитет как единственный в Париже че-

людей, имевший положительный опыт Революции. Само собой, к нему обращались за советами, но одним из первых Джефферсон стал говорить, что ситуация выходит из-под контроля не только короля, но и реформаторов-революционеров. Этот незаурядный человек и здесь оказался прав. Как известно из истории, деятели Французской Революции не могли реально оценивать ошибки, которых совершалось все больше (об этом великолепно сказано у В. Гюго в романе «93-й год» [15]). Лидеры вели между собой бесконечные споры, делая все для разобщения демократических сил. Опять же, не упустим из внимания их личностные качества, широко известные и в те времена. Мирабо, Дантон, Демулен были увлечены не только высокими идеями, но и коррупционными делами. Робеспьер, Марат, Кутон, Сен-Жюст рьялись в одежды революционных ангелов мести, заливая страну кровью, – «слепая ярость реформаторов может убивать. Люди, провозглашающие лозунги просвещенной добродетели, нередко скрывают в своем сердце необъяснимую злобу» [16, с. 365]. Но всех их постигла жестокая расправа, а не слава великих сынов Франции. Ян Замойски был прав: «Планы не могут быть более благородными, гуманными и свободолюбивыми, чем их инициаторы». Можно только предположить, что революция во Франции развивалась бы иначе, если бы ее возглавили Вашингтон или Джефферсон. Во главе людей, пишет Дж. Р. Сол [3, с. 99], непосредственно вовлеченных в революционные события, потерявших ориентиры в океане сверхчеловеческих идей и иллюзий, восстали блестящие, но незрелые эгоисты, которые вскоре занялись самоуничтожением. На смену им явилась группа продажных и посредственных политиканов, в результате чего люди испытывали сильнейшее разочарование, а общество охватила всеобщая депрессия.

Некоторые знаковые фигуры крайне противоречивы и загадочны. Взять того же Робеспьера, гораздо больше похожего на священника или подвижника, чем на прожженного политика. Он очень напоминает Джироламо Савонаролу (1452–1498), итальянского католического проповедника, получившего абсолютную власть во Флоренции вместе с уверенностью, что все его действия – исключительно во благо народа. Оба презирали деньги, не брали взятку, имели безупречную моральную репутацию, законодательно ограничивали стяжательство и имущественное неравенство, объявили себя наместниками Бога ... и для претворения своих чистых и светлых идей начали массовый террор, без всякой жалости и угрызений совести. Чем все закончилось – известно. Когда одного волокли на костер, а второго – на эшафот, люди осыпали их проклятиями. Но оба до конца были уверены, что их попытки оказались обречены на провал вследствие несовершенства человеческого материала, оказавшегося под рукой. Вообразив себя избранными, мессиями, они даже у современников вызвали дикую ненависть (кроме «неподкупного» у Робеспьера, например, была кличка «Бешеной гиены»), по крайней мере, казались нелепыми и даже юродивыми. (Савонарола был чудовищно уродлив. Робеспьер со своими яркими зелеными глазами и тщедушным сложением обладал слабым невыразительным голосом, хотя и произнес в Конвенте более 900 речей. Однако очевидцы свидетельствуют, что голос диктатора проникал как бы прямо в мозг, минуя ушные раковины с барабанными перепонками. Здесь, пожалуй, мы имеем дело с психическими и физическими вырожденцами (дегенератами), у которых ненормально развита жажда власти. И никакой мистики.

Теперь на повестке дня – культ Героя. Так к власти приходят бонапарты. Отсюда понятно, почему Наполеон был единственным человеком, которого действительно ненавидел Джефферсон: «... он был негодяем, ответственным за большое количество страданий и несчастий во всем мире, чем любой другой из живших на свете до него. После уничтожения свобод в своей стране он истощил все ее ресурсы, физические и моральные, чтобы потворствовать своим маниакальным амбициям, своему тираническому и властному духу... Чем можно искупить те страдания, которые он уже причинил своим современникам и грядущим поколениям, которые он сковал цепями деспотизма!» [3, с. 103]. Следует понимать, что Джефферсона возмущал не только тот непоправимый ущерб, который Бонапарт нанес делу разума. Его раздражало и то, что этот ущерб был нанесен в первые десятилетия существования системы, когда она еще была полна жизненной силы.

Провидцем показал себя не только Джефферсон, но и человек, обладавший удивительным историческим чутьем и здравым смыслом, один из лидеров партии вигов, осторожный и любознательный мыслитель, сторонник Паоли, независимости Ирландии и американских колоний. При жизни его зачислили в ряды реакционеров, а за критику картезианской логики он навлек на себя интеллектуальное осуждение таких авторитетов, как Дж. Бенхам и Дж. Милль. Речь идет, как можно догадаться, все о том же Э. Берке, который был способен видеть события такими, какими они были на самом деле, понимающим, в чем состоит моральная правда и ценность здравого смысла.

Наблюдения Э. Бёрка ценны, но многие серьезные вещи им оставлены без внимания. Очевидно, что во время смуты на континенте Англия применила против Франции стратегию «непрямых действий» (в древности ее разработал гениальный полководец Сунь Цзы, а в XX веке довел до совершенства военный теоретик сэр Лиддел Гарт, удостоенный за свои достижения рыцарского звания, несмотря на еврейское происхождение). Британские спецслужбы и дипломаты расшатывали Францию изнутри. Одну из важнейших ролей здесь играл Дж. Бенхам – один из руководителей Форин офиса (кстати, одним из любимых учеников Бенхама был Дэвид Экарт, впоследствии курировавший самого Карла Маркса [17, с. 239]), владевший информацией о степени алчности французских революционеров. Еще накануне революции мно-

гие депутаты Генеральных штатов (Дантон, Мирабо – самые известные) щедро снабжались английским золотом. Ставленник банкирских кланов, выходец из Швейцарии, могущественный олигарх и министр финансов Франции при позднем Людовике XVI и ранней стадии революции Жак Неккер погрузил Францию в полный хаос. Например, заключенный при нем англо-французский торговый договор снизил пошлины на экспортировавшиеся во Францию британские промышленные товары, похоронив местные мануфактуры и спровоцировав таким образом тяжелейший кризис, а за ним и безработицу, и нищету, и грандиозный государственный долг, превысивший годовые доходы страны.

Кому это выгодно? Вопреки расшатанной экономике Франция оставалась самой могущественной и населенной страной Европы и, следовательно, единственным естественным конкурентом Британии. Как было не поспособствовать организации во Франции Кровавой Смуты? Королевская династия была сплошь в должниках у финансово-банковских воротил. К тому времени в парижских салонах (самый известный – у мадам де Сталь, дочери упомянутого Ж. Неккера) успешно ретранслировались и тиражировались идеи, генерировавшиеся в Лондоне. Особенно рьяно воспевалась «свобода торговли». Кто бы сомневался, что британцы, обладая самой развитой промышленностью, самым могущественным капиталом, доступом к копеечному колониальному сырью, выйдут из противоборства с французами победителями, если только оно состоится в условиях свободного рынка. «Свобода» сама по себе не плоха, конечно, но понятие очень растяжимое. Проникновение либеральных идей из страны, уже сумевшей их переварить, в страну сословную и аграрную, к тому же еще и выведенную из равновесия войнами, инфляцией и финансовыми спекуляциями, чревато на деле большой бедой. Все это решалось в рамках стратегии «непрямых действий» и вряд ли такой умище, как Бёрк, этого не понимал. Однако предпочел говорить о другом.

Эдмунд Бёрк высказывал суждение о неприменимости французского революционного опыта для Англии, и связал это с особенностями национального духа англичан. Он глубоко утвердился в том, что настоящая конституция жизни людей основывается на истории общественных институтов, а не на листке бумаги. Последователь Бёрка, француз Жозеф Де Местр (1753–1821), очень точно развил эту мысль, о чём пишет Р. Нисбет [6, с. 34]. Де Местр без каких-либо противоречий возносил американскую конституцию и считал её очень удачной, однако, подчеркивал, и в этом суть вопроса, что *настоящая* американская конституция была и остаётся не документом, не бумажкой, а комплексом обычаев и традиций, сформированных на протяжении двухсотлетней жизни американцев в Новом Свете. Эта идея о «настоящей» конституции стала одной из самых влиятельных в XIX веке. Отсюда, надо полагать, проистекает концепция «живой» Американской Конституции, противостоящая идеалистическим прожекткам рациональных оптимистов. О них, своих соотечественниках, французский историк Ипполит Тэн сказал – «самое незатруднительное – усовершенствование воображаемого».

Но если внимательнее посмотреть на два символических голоса консервативной реакции – Местра и Бёрка – мы найдем несколько удивительных и часто не замечаемых элементов. Как подметил Кори Робин, это прежде всего «антипатия, граничащая с презрением, как раз к старому порядку, делу их жизни» [18, с. 88]. Действительно, первые главы «Рассуждений о Франции» Местра [19] представляют собой безжалостную атаку на три столпа старого режима: аристократию, церковь и монархию. Дворянство он разделяет на две категории: изменников и невеж, а духовенство считает коррумпированным и ослабленным из-за своего богатства и распущенности. Монархия обмякла и утратила свою карающую волю. Задолго до революции, как он утверждает, лидерство Старого порядка зашло в тупик. Бессилие, физическое и интеллектуальное, было – и остается – величайшим грехом Старого порядка. Монархия раз за разом выказывала нехватку воли «качать» [19, с. 15], которая является отличительной чертой настоящего правителя. Обвиняя защитников старого порядка в трусости перед революционным либо реформаторским вызовом, де Местра в перевороте видит безжалостное, но необходимое стечение обстоятельств.

В случае с Бёрком критика тоньше и глубже. Дело в том, что его известным «Размышлениям о революции во Франции» [7] предшествовала работа по эстетике «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» [20]. Бёрк преподносил красоту как символ очарования старого режима, но красота для него вовсе не показатель жизненной силы власти, но всегда признак упадка. Она порождает удовольствие, которое вызывает равнодушие или ведет к полному растворению личности: «Красота действует тем, что расслабляет твердые части всего организма» [20, с. 172]. Он часто иронично замечал, что «наши наиболее почетные и прекрасные учреждения не производят ничего, кроме пыли и копоты» [18, с. 89]. Итак, по Бёрку, Старый порядок прекрасен, но поэтому он еще застойен, инертен и робок. Он не способен защитить себя от «вторжения способных», поскольку способности отошли новым людям власти, которых порождает революция. Финансовые круги, вступившие в союз с революцией, сильнее, чем круги землевладельческие, поскольку они «более открыты для любой авантюры» и «более расположены к новому, каким бы то ни было предприятиям» [7], то есть Старый порядок прекрасен, статичен, слаб; Революция – уродлива, динамична, сильна. Бёрк в одном из своих писем признавался, что в способности, ловкости и ясности своих взглядов якобинцы превосходят остальных. Получается, для Бёрка и Местра величайшим врагом старого порядка является не революционер и не реформатор, а сам Старый режим и его защитники. Поэтому не удивительно, что консерваторы обратили восхищенный взор на Севе-

роамериканский континент, где события вершились с необходимой энергией, ясностью и целеустремленностью.

Государственность и семья, право и воспитание, мораль и быт, труд и настойчивость, – все эти ценности, культивируемые в Новом Свете, «отцы-основатели» Американской Конституции положили в основу законодательства. Не забудем, что буржуазная Америка возводилась на основе десяти христианских заповедей: «культуру протестантизма всегда отличал акцент, который она делает на дисциплине ума, освобождении его от власти чувств и эмоций» [16, с. 235]. Добавим сюда устойчивые традиции плюс здравый смысл – и получим понимание американского «настоящего» конституционализма, оказавшегося очень удачным проектом. Майкл Новак весьма точен, когда причину экономической мощи северных протестантских стран (англосаксонских, скандинавских, германских) видит в их культуре. Бывший католический богослов пишет: «Даже если романские страны, где господствует католицизм, точно воспроизведут у себя некоторые из институтов протестантских стран – конституционное правление и экономический рост – здесь они будут функционировать иначе, чем на их родине. Формы «самоконтроля» личности в этих культурах, несомненно, различны. Отличаются и способы, которыми представители данных культур сдерживают эмоции, отличаются и их идеалы, а также содержание таких понятий, как «власть» и «свобода». В романском обществе происходят бесконечные колебания от «анархии к иерархии», здесь намного меньше умеренности и порядка, чем в типичной стране Северной Европы» [16, с. 319]. Рассуждения М. Новака двумя столетиями ранее предвосхитили взгляды представителей исторической школы права, которая возникла в Германии в конце XVIII века, когда там сохранялся феодальный строй, а в экономическом, социальном и политическом отношении это был отсталый регион Европы (страны как таковой еще не существовало).

События во Франции оказали решающее влияние на развитие политико-правовой мысли Германии. Густав Гуго (1764–1844) ставит вопрос о длительном историческом процессе формирования права и отвергает мнение, что правовое регулирование может осуществляться сверху. Уподобляя право языку, он утверждает, что самый правильный путь развития права – через обычаи и традиции. Революционный опыт, само собой, категорически неприменим. Фридрих Карл Савиньи (1779–1861), будучи цивилистом, так и не понял динамики капитализма, отрицал любые новаторства в правотворческом процессе. Иначе как наивными не назовешь его рассуждения об идеальном законодательстве, пригодном для всех стран, которое достаточно открыть, чтобы на вечные времена завершить создание положительного права. Георг Пухта (1789–1846) так же, как и его предшественники, полагал, что право есть результат-продукт народного духа. Будучи сторонником монархического правления, горячо приветствовал реставрацию Бурбонов во Франции. К тому же Пухта всю жизнь оставался «мягким» клерикалом, что делало его принципиальным противником любых социальных революций, направленных против церкви и религии. В целом представители исторической школы права отбрасывали идеи свободы, равенства, республиканизма и конституционализма. В противостоянии назревшим буржуазным преобразованиям многие их выводы и положения выглядят откровенно реакционными. К числу достижений (не политического, но научного плана) можно отнести их внимание к исторической обусловленности и эволюции политико-правовых институтов, их национальной специфике. Но мистика и религиозное мировоззрение снижают научные заслуги этой школы.

На американском континенте реформаторы были озабочены совсем другими вопросами. Новый всплеск политической борьбы между федералистами (А. Гамильтоном, Дж. Мэдисоном, Дж. Вашингтоном) и республиканцами (Т. Джефферсоном, Б. Франклином, Т. Пейном) не мог привести к коренному пересмотру итогов революции и факту принятия Конституции. Идея естественных неотчуждаемых прав человека была для политико-правовой мысли США незыблема. Главное – она последовательно воплощалась на практике. Для миллионов американцев, для всех людей демократических убеждений опыт конституционных преобразований в США является поистине неоценимым.

Подчеркнем сугубо юридический аспект. Все современные исследователи (см., например, Д. Ллойд [21, с. 96]) сходятся во мнении, что Конституция США представляет собой документ, в значительной степени основанный на естественном праве, в соответствии с которым устанавливается власть народа и гарантируются естественные права граждан. Действительно, эта конституция воплотила в себе большую часть наследия естественного права, причём в то время, когда его идеи начали терять свою популярность. Она неразрывно связала закон с понятием прав и свобод, а также закрепила чрезвычайно важную идею, столь влиятельную в наше время, что естественные права могут гарантироваться законом и быть предметом судебной защиты, точно так же как и любые другие права и обязанности, предоставляемые или налагаемые светским правом. Более того, поскольку эти права были записаны в Конституции, они получили особое преимущество, что позволило судьям рассматривать их в качестве имеющих высшую силу и приоритет над любыми другими правовыми актами в случае конфликта с ними. Таким образом, впервые в истории был создан действующий механизм, посредством которого естественные права могли быть включены в правовую систему и получить признание в качестве законных и подлежащих соблюдению прав. Отсюда и истоки конституционной юстиции, укоренившейся в США.

Революционная Франция возводилась на основе самого современного, научного и популярного учения Руссо – всё провалилось в кровавую пропасть. Французский конституционализм такого пошиба навёл ужас на всю Европу, этот проект завершился полным провалом, что мы и пытались показать. Присоединимся к мнению «народного монархиста» И.Л. Солоневича: «О французской революции написано, говорят, двести тысяч томов. Прочсть их все не может никто. Если бы вы смогли прочсть только двадцать тысяч, то и это было бы ни к чему: вы обогатили бы ваш ум двадцатью тысячами разных точек зрения. Но если вы отбросите все эти двадцать тысяч и возьмётесь за самые очевидные факты, то вы увидите, что в результате революции Франция, занимавшая раньше первое место в мире по богатству, культуре, политической мощи и прочему, скатываясь с одной революционной ступеньки на другую, докатилась сейчас до положения страны третьего сорта, и её население с 20 % всего населения Европы сошло до 8 %. Страна вырождается экономически, политически и даже физически...» [22, с. 131]. Важную деталь подмечает Ги Сорман, анализируя провалы социальных революций: «...любое нарушение культурной преемственности пагубно. Революционеры оспаривают нравственные законы не потому, что хотят добиться, чтобы наше общество стало лучше, а только оттого, что они лично несчастны в том обществе, которое есть. Именно поэтому они столь многословны в разоблачении нашего мира и столь стерильны в своих проектах! Англичане, не совершавшие революций с XVII века, лучше, чем другие народы, поняли это» [5, с. 40]. Поняли это и американцы, «чуждые к общим идеям и не стремящиеся к теоретическим открытиям», – заключил А. де Токвиль [4, с. 229].

Рассматриваемые вопросы, завязанные в единую систему, могут быть понятны лишь при условии, что в основе их лежит целая философия истории – особый взгляд на характер исторического процесса. Речь идет о том, является ли история органическим процессом, сходным с ростом живого организма или биологической эволюцией, или же она сознательно конструируется людьми, подобно некоторому организму. Иначе говоря, вопрос о том, чем считать общество – организмом или механизмом, живым или мертвым. Удивительным образом препарирует проблему И.С. Шафаревич [23, с. 328–329], на основных рассуждениях которого сосредоточим наше внимание.

Согласно первой точке зрения, человеческое общество сложилось в результате эволюции «норм поведения» (в самом широком смысле: технологических, социальных, культурных, моральных, религиозных). Эти «нормы поведения», как правило, никем сознательно не изобретались, но возникли как следствие очень сложного процесса, в котором каждый новый шаг совершался на основе всей предшествующей истории. Будущее рождается прошлым, Историей совсем не по нашим замыслам. Так же как новый орган животного возникал не потому, что животное предварительно поняло его полезность, так и новый социальный институт чаще всего не создавался сознательно, для достижения определенной цели.

Вторая точка зрения утверждает, что общество строится людьми логически, из соображений целесообразности, на основании заранее принятого решения. Здесь вполне можно, а часто и нужно игнорировать исторические традиции, народный характер, выработанную веками систему ценностей. (Типично высказывание Вольтера: «Хотите иметь хорошие законы? Сожгите свои и напишите новые».) Зато решающую роль играют те, кто обладает нужными познаниями и навыками: это истинные творцы Истории. Они и должны сначала вырабатывать планы, а потом подгонять неподатливую жизнь под эти планы. Весь народ оказывается лишь материалом в руках. Как плотник из дерева или инженер из железобетона, возводят они из этого материала новую конструкцию, схему которой предварительно разрабатывают. Очевидно, что при таком взгляде между «материалом» и «творцами» лежит пропасть, «творцы» не могут воспринимать «материал» как таких же людей (это помешало бы его обработке), но вполне способны испытывать к нему антипатию или раздражение, если он отказывается правильно понимать свою роль.

Выбор той или другой из этих концепций формирует людей двух разных психологических типов. Приняв первую точку зрения, человек чувствует себя помощником и сотрудником далеко превосходящих его сил. Приняв вторую – независимым творцом истории, демиургом, маленьким богом, а в конце концов – насильником. Вот на этом-то пути и возникает общество, лишенное свободы, какими бы демократическими атрибутами такая идеология ни обставлялась.

Здравомыслие американского консерватизма наглядно иллюстрирует тот факт, что в США за всю их историю Основной Закон не изменялся ни разу (!), а постоянно революционная Франция явила миру не один десяток конституций. (Мишель Верпо: Франция – кладбище конституций). Причем нельзя сказать, что содержание американской Конституции удовлетворяло всех ее лидеров. Одобренная Конституция, как заметил судья Верховного Суда Торгуд Маршалл, была «с самого начала ущербна» [3, с. 91]. Но лидеры нации, подобно Джефферсону и Вашингтону, отметили абстрактные социальные модели, ориентировались на средний путь, искали его среди окружающего беспорядка, руководствуясь здравым смыслом. Разум, воплощенный в высшем юридическом акте – ещё не ВСЁ, чем управляется общество, и даже не самая его важная часть. История о том свидетельствует. Милтон Фридман, один из столпов капиталистического общества, пишет о том, что «было бы огромной ошибкой считать, что правовые нормы являются доминирующей силой в деле формирования индивидуального характера; вероятнее всего, семья, школа и церковь обладают гораздо большим влиянием. Люди, управляющие данными институтами, используют

свое влияние для продвижения собственных представлений о благе, *независимо от состояния права* (курсив наш. – **А. П.**)» [24, с. 37]. (О более ранних высказываниях см. также Людвиг фон Мизес [25, с. 67–75]). Может показаться, что подобные взгляды удивительно далеки от либертарианской защиты свободного рынка, с его прославлением атомистичного и автономного индивида, что традиционно ассоциируют с американским строем. Но это не так. Когда либертарианец смотрит на общество, замечает К. Робин [18, с. 52], он не видит изолированных индивидов; он видит отдельные, часто иерархические группы, в которых отец управляет своей семьей, а собственник предприятия – своими работниками. Но американский капиталистический уклад невозможно понять без христианско-доктринальной составляющей.

Один из самых трудных уроков жизни состоит в том, что человеку нелегко научиться быть смиренным, думать и поступать реалистично, смотреть в лицо фактам, отличать надежду от утопии. Образ надежды – реалистичен, он учитывает неведение и жестокость, присутствие неразумных и греховных сил, и поэтому отсутствие иллюзий можно относить к высшим формам человеческого сознания. В христианстве – это образ Воплощения, то есть уважение к миру, такому, какой он есть; признание его условностей, слабостей, иррационализма, злых сил и неверие в любые обещания, что мир теперь или когда-нибудь будет преобразен в Град Божий. Мир не идет к тому, чтобы стать царством справедливости и любви, но это не означает отказ от надежды. Поэтому мы можем надеяться на революцию, если они основаны на реализме, а не на утопии. Надежды без иллюзий всегда консервативны в сравнении с любой формой утопии, но они прогрессивны в сравнении с любой формой эгоистического цинизма.

Эти размышления во многом навеяны трудами замечательного мыслителя М. Новака, который дал очень образную характеристику американским событиям конца XVIII века. Надеемся, небольшой пересказ [16, с. 363–367] фрагментов его текста поможет глубже понять проблему.

«Несмотря на то, что отцы-основатели также были склонны к перфекционизму, они старались спроектировать институты, которые бы подходили грешным людям, а не ангелам или святым. Они пытались сдерживать и ограничивать пороки, среди них – в первую очередь тиранию, даже тиранию во имя морали и религии. В качестве образа гражданина, для которого задумывалась эта система, они избрали не святого или проповедника, не военного героя или аристократа, не поэта или философа, не короля или крестьянина, – а свободного человека, владеющего собственностью и занятого коммерческой деятельностью. Они поступили так, поскольку полагали, что именно этот тип человека более других подходит этой системе: его достоинства и недостатки очевидны, следовательно, он вполне предсказуем в своих грехах и возможных поступках. [...] В спланированной таким образом системе достаточно возможностей для всякого рода проявлений героизма и высокой доблести, благородного образа мыслей и выдающихся поступков. Но система как таковая была рассчитана главным образом на обычного человека. Довольно легко сделать ее объектом насмешек или презрения. По замыслу её авторов она предназначалась не для того, чтобы вызвать восторг, а чтобы быть простой и практичной.

Они называли это «революцией», однако в истории мировых революций она была намного ближе практическим устремлениям большинства людей – непретенциозна и не обещала избавления от всех пороков. Они планировали ее так, чтобы она не была кораблем благодати и спасения, а была всего лишь REMOVENS PROHIBENS, где люди сами могли выбирать свою судьбу. Они создавали ее не так, как поэты рожают свои образы, но так, как плотники очищают ствол от коры и кладут балки на предназначенное им место. Они задумывали ее, как Ной, так, чтобы она смогла противостоять любым наводнениям и опасностям, которым ее может подвергнуть история.

Вопрос о том, куда она поплывет, они оставили на усмотрение команды и капитана в каждом поколении. Они понимали, что их роль заключена не в том, чтобы, как священники и философы, определять звезды, по которым должен ориентироваться корабль в своем плавании, а в том, чтобы система в целом подходила для плавания. Они не обещали рая и спасения, мира и справедливости. Задача ... состояла не в управлении кораблем, а в том, чтобы сделать само путешествие возможным. Не все мечты заслуживают одинакового доверия. В условиях ограниченных возможностей приходится выбирать что-то одно. Более того, прежде чем отказаться от плавания на этом корабле, следует обратить внимание на то обстоятельство, что других кораблей не так уж и много ...».

Эта своеобразная притча позволяет лучше понять один из наиболее обсуждаемых фрагментов Декларации Независимости 1776 года о том, что «все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и *стремление к счастью*» [26, с. 25]. Счастье не в понимании юродивого, но в твердом взгляде человека, которому удалось совместить здравый смысл с моралью, разумом и пониманием истории. Речь идет о Т. Джефферсоне, который вошел в историю как революционер и как справедливый, честный президент. Он был очень успешен как в разработке идей, так и в их осуществлении на практике. Несомненно, и он совершал ошибки, но это был, пожалуй, крупнейший общественный деятель той эпохи. Джефферсон жил по принципу, чтобы слова не расходились с делом: «Никакой эксперимент не может быть более интересен, чем тот, который мы осуществляем. И мы верим, что он закончится подтверждением того факта, что челове-

ком могут управлять разум и правда. Поэтому наша важнейшая цель должна состоять в том, чтобы открыть человеку все дороги к правде» [3, с. 98], – пишет он судье Джону Тайлеру в 1804 году.

Подлинный энциклопедист, он впитал в себя все богатство античной и европейской мысли. Но исторический подход, которому следовал Джефферсон, подразумевает наличие надежной памяти о том, как развивались события в прошлом, что в свою очередь затрудняет процесс принятия чисто абстрактных рациональных решений. Как бы ни нравились ему теоретические построения мыслителей Старого Света, он рассматривал их применительно к конкретным нуждам американского общества. «Нет и не может быть, разумеется, одной лучшей формы политического устройства. Как нет лучшего лекарства от всех болезней. Но каждому народу, в каждой ситуации, на каждой стадии развития цивилизации наиболее подходит конкретный строй. От которого минимум вреда и максимум пользы» – высказывание М. Веллера [27, с. 443] не про США, но очень в тему. При подготовке проекта Декларации 1776 года (справедливости ради отметим, что ей предшествовала Декларация прав Вирджинии от 12 июня 1776 года, написанная Джорджем Мейсоном и отредактированная Джеймсом Мэдисоном, где говорилось о стремлении к достижению счастья) Джефферсон как автор (при участии Б. Франклина и Дж. Адамса) пояснял, что она была задумана «как выражение американского разума и должна была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка» [11, с. 218]. Эта задача была блестяще решена и по форме, и по содержанию. Он и его товарищи, подписавшие этот документ, поклялись отдать «жизнь, состояние и священную честь». А кто способен на это в наше время? Психология примитивных амбиций и банального меркантилизма задушила творчество и изобретательность, а нравственный здравый смысл последовательно третируется тщательно дозированным цинизмом.

Не так видели общественные ценности Джефферсон и его соратники: «Анализ считался средством для выискивания фальши и суеверий. А здравая и практическая оценка прошлого опыта ... была основанием, на котором строились все теоретические обоснования» [3, с. 199]. Этот незаурядный человек очень тщательно думал о том, каким в реальности будет будущее. Снова и снова, опираясь на разумный оптимизм, он возвращался к аналитическим и научным прогнозам на основе всесторонней и разумной оценки прошлого. Лучшим способом добиваться изменений он полагал применимость комплекса методов научного прогнозирования будущего и анализа исторических событий. Но в основе всего – нравственность, совесть и гуманное отношение к человеку. Что касается появления новых политических систем, то и американская, и французская рассматривались лишь как эксперимент, но в какой разительной степени отличалась «джефферсоновская» философия от французской идеи создания нового человека и справедливого общества по рецептам Гельвеция и Робеспьера! О практических последствиях обоих экспериментов сказано достаточно.

Однако на континенте внимание всех было приковано не к американским, а французским событиям. Парадоксальнее всего это коснулось Российской Империи [13, с. 16]. «Просвещенная» царица Екатерина II, которая сама не чуралась новомодных взглядов, переписывалась с Вольтером, приглашала Д'Аламбера и Дидро приехать в Россию [28, с. 272], которая разрешила в стране оборот французских газет... эта самая Екатерина очень напряглась, увидев, куда вырывается французское просвещение. А ведь еще недавно она была на диво добра к вольнолюбиво! Вся империя зачитывалась якобинскими газетками. Один из современников писал: «... цитаты из Священного Писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в их устах изречениями философов XVIII века и революционных ораторов» [13, с. 17]. На волне революционной эйфории А.Н. Радищев издает свое «Путешествие из Петербурга в Москву», вызывая гнев императрицы: «Бунтовщик хуже Пугачева!» и указ о заточении начинающего литератора в Алексеевский равелин.

Екатерина II окончательно утвердилась в мысли, что просвещенный абсолютизм все-таки лучше, чем оголтелая власть толпы. И начала потихоньку закручивать гайки – выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, отказалась от всех заключенных с Францией договоров, выслала французского посла, приказала выгнать из России всех подозреваемых в симпатиях к Французской революции, а в 1790 году даже выпустила указ о возвращении из Франции всех русских. Прибывший по этому указу в Россию революционный граф и член Якобинского клуба Строганов был немедленно сослан в свое имение – внимательно задуматься о жизни. Однако революционные семена были уже посеяны и позже проросли тайными сообществами, масонскими ложами, вольнодумными салонами. Посленаполеоновская оккупационная миссия в Западной Европе изменила сознание офицеров-дворян, что привело к революционному брожению, «Конституции» Муравьева и «Русской Правде» Пестеля, и в конечном счете – к восстанию декабристов.

Французская конституция не была первой на континенте. 3 мая 1791 года Конституцией «обзавелась» Речь Посполитая (справедливости ради отметим, что называлась она *Ustawa Rządowa* [29, с. 250], то есть «Закон о правлении», хотя в самом тексте латинский термин употребляется неоднократно). Но никакого влияния на ход европейских событий она не оказала, да и для самого государства этот документ не стал действующим актом. Причин тому множество, и писать о них приходится в трагических и безысходных тонах.

Весь XVIII век страна пребывала в жесточайшем кризисе. Её политическая культура представляла «экзотический анахронизм» [30, с. 57], принцип «*либерум вето*» при голосованиях в Сейме блокировал

принятие любых государственных решений (как писал Ш.-Л. Монтескьё, «цель законов Польши – независимость каждого отдельного лица и вытекающее отсюда угнетение всех» [31, с. 138]); отсутствовала нормальная постоянная армия, налоги и бюрократия; экономика в полном упадке; в сельской местности сохранялась жёсткая крепостная система, а в городах продолжали существовать гильдии; внутренние распри между политическими группировками (как правило, проплаченными из-за границы) приводили к открытым вооружённым столкновениям; «католицизация» и полонизация приняли невиданный характер; на юге вспыхивали регулярные крестьянские и казацкие восстания; на территории государства пребывали иностранные войска, постоянно готовые к вмешательству во внутренние дела Речи Посполитой; западные политические идеи шляхту и магнатию не интересовали вовсе; ... и так далее. Средневековая идея «золотой шляхетской вольности» в эпоху развивающегося капитализма и формирования европейских наций символизировала глубокий провинциализм и отсталость реликта феодальной эпохи. Страна при любых раскладах была обречена, но появился шанс для выживания белорусов как этноса (это отдельная история, она блестяще изложена у В. Булгакова «История белорусского национализма» [30]).

Да, можно говорить о прогрессивном характере Конституции 3 мая 1791 года; о влиянии на её содержание идей Американской и Французской революций [32, с. 51–61]; о «пальме первенства» на Европейском континенте; об отчаянной и героической борьбе патриотов исчезающей Родины против внешних агрессоров; о восприятии идеи нации как единого политического сообщества и т.д. Всё это было, но предотвратить распад государства было уже невозможно, слишком глубоким оказалось падение в бездну. Этот документ так и остался конституцией на бумаге, а поляки, белорусы, литовцы, украинцы надолго распрощались со своей свободой, обретя государственность лишь в XX веке. Этот «акт о намерениях», скорее, можно назвать «квазиконституцией», а поскольку она писалась для «польской нации», правы те исследователи, которые не рассматривают её вехой в истории белорусского конституционализма. Реальная конституционная традиция начинает формироваться лишь в 90-е годы XX века, и эта история ещё не написана.

Закключение. Революционные события и конституционные преобразования рассмотренного периода, подобно зеркалу, отразили основные вехи французской и американской истории, реальное общественное бытие, идейные ценности и традиции, чаяния и разочарования людей той эпохи. Особенно ярко это отразилось в принимаемых юридических актах, которые по сей день являют настольную книгу для юристов-конституционалистов, историков и политиков. Вторая половина XVIII века очень значима для развития европейской цивилизации, от нее начался новый временной отсчет, поскольку борьба и реформы были посвящены коренным вопросам общественно-политического устройства: о форме государства и пределах государственной власти; о характере отношений между государством и народом; о демократических правах и свободах личности. Важно лишь понимать, что ценности меняются с течением времени, отсюда – особая важность исторического подхода, умения рассматривать события в контексте соответствующей эпохи. Однако многое из того, что привнесли Франция и США в мировой опыт, носит универсальный характер, отражает общие тенденции европейского цивилизационного развития. А оценки той или иной эпохи могут быть самые разные, это лишь обогащает политико-правовую мысль, дает возможность избежать трагических ошибок прошлого. История – очень демократичный учитель, многому может научить, но никого не заставляет учиться. Кстати, умер Томас Джефферсон в день 50-летия Декларации независимости, автором которой он являлся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Синкотта, Х. Что такое демократия? / Х. Синкотта. – Вашингтон, округ Колумбия: Информационное агентство Соединенных Штатов Америки, октябрь 1991. – 32 с.
2. Сийес, Э.-Ж. Что такое третье сословие? / Э.-Ж. Сийес // Аббат Сийес: От Бурбонов к Бонапарту состав., пер., вступ. ст. М.Б. Певзнера. – СПб.: Алетей, 2003. – 224 с.
3. Сол, Дж.Р. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе / Дж.Р. Сол; пер. с англ. А.Н. Сайдашева – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 895 с.
4. Токвиль, А. де. Демократия в Америке / А. де Токвиль; пер. с франц. Гарольда Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. – 554 с.
5. Сорман, Г. Либеральное решение / Ги Сорман; пер. с франц. – М.: Изд-во «Новости», 1992. – 272 с.
6. Нісбэт, Р. Кансэрватызм / Р. Нісбэт; пер. з англ. А. Андрыеўскай і А. Дынько; пад рэд. А. Дынько. – Менск-Вільня, Фрагмэнты, Віленскі клуб, 2000. – 13 с.
7. Берк, Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. – М.: Рудомино, 1993. – 144 с.
8. Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме / ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирумнского; пер. с нем. – М.: Гос. изд-во художественной лит., 1956. – 663 с.
9. Кошен, О. Малый народ и революция / О. Кошен; пер. с франц. О.Е. Тимошенко; предисл. И.Р. Шафаревича. – Айрис-пресс, 2004. – 288 с.
10. Солженицын, А.И. На возврате дыхания. Избранная публицистика / А.И. Солженицын. – М.: Изд-во «Вагриус», 2004. – 719 с.

11. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. ред. проф. О.В. Мартышина. – М.: Норма, 2004. – 912 с.
12. Хайніцка, К. Гісторыя палітычных і праўных тэорый / Крыстына Хайніцка, Гэнрык Альшэўскі; пер. з пол. Уладзіміра Маруціка; навук. рэд. У. Маруцік. – Мінск: Медисонт, 2007. – 312 с.
13. Бьюкенен, П.Дж. Смерть Запада / П.Дж. Бьюкенен; пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 444 с.
14. Никонов, А.П. Наполеон: Попытка № 2 / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2010. – 376 с.
15. Гюго, В. Девяносто третий год / В. Гюго; пер. с франц. Н. Жарковой. – Минск: «Беларусь», 1977. – 352 с.
16. Новак, М. Дух демократического капитализма / Майкл Новак; пер. с англ. В.Г. Маргутика. – Минск: «Лучи Софии», 1997. – 544 с.
17. Зуев, Я. Большой план апокалипсиса / Я. Зуев. – М.: Эксмо, 2012. – 512 с.
18. Робин, К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин / К. Робин; пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнareвой, К. Бандуровского. – М.: Изд. Ин-та Гайдара, 2013. – 312 с.
19. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр. – М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1997. – 216 с.
20. Бёрк, Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Бёрк. – М.: Искусство, 1976. – 237 с.
21. Ллойд, Д. Идея права / Д. Ллойд; пер. с англ. – М.: «ЮГОНА», 2002. – 416 с.
22. Солоневич, И.Л. Народная монархия / И.Л. Солоневич. – М.: Ин-т рус. цивилизации, 2010. – 624 с.
23. Шафаревич, И. Русофобия / И. Шафаревич // Русь многоликая: сб. Публицистика. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 311–356.
24. Фридман, М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – М.: Новое изд-во, 2006. – 236 с.
25. Мизес фон, Л. Социализм. Экономический и социологический анализ / Л. фон Мизес. – М.: Gataallaxy, 1994. – 151 с.
26. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: пер. с англ. / сост.: В.И. Лафитский; под ред. и со вступ. ст. О.А. Жидкова. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 768 с.
27. Веллер, М. Человек в системе / М. Веллер. – М.: Изд-во «Астрель», 2010. – 575 с.
28. Биллингтон, Дж.Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры / Дж.Х. Биллингтон. – М.: Рудомино, 2001. – 880 с.
29. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (историография вопроса, периодизация) / М.Ф. Чудаков // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнеўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зб. навук. прац, прысв. 90-годдзю з дня нараджэння праф. І.А. Юхо / рэдкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) і [інш.]. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 239–252.
30. Булгаков, В. История белорусского национализма / В. Булгаков. – Вильнюс: Ин-т белорусистики, 2006. – 331 с.
31. Монтескье, Ш.Л. О духе законов / Ш.Л. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.
32. Юхо, І.А. Гісторыка-прававы аналіз вытокаў Канстытуцыі Рэчы паспалітай 3 мая 1791 г. і Канстытуцыі Францыі 3 верасня 1791 г. / І.А. Юхо, В.У. Сажына // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнеўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зб. навук. прац, прысв. 90-годдзю з дня нараджэння праф. І.А. Юхо; рэдкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) і [інш.]. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 51–61.

Поступила 03.04.2014

THE CONSEQUENCES AND ESTIMATES OF REVOLUTIONARY EVENTS AND FIRST CONSTITUTIONAL REFORMS IN AMERICA AND FRANCE

A. PUGACHEV

Revolutionary changes and experience of the first constitutions are shown in the comparative analysis of French and American events. The main attention is paid to sensible estimates of the European conservatives of a studied era: E. Burke, L. de Bonald, A. de Tocqueville, J. de Maistre, the representatives of the historical school of law. Contrary to them R. Prays, T. Paine, I. Forster, K. Shubart's views are offered. The opinion of modern thinkers is considered: R. Nisbet, J. Saul, P. Buchanan, M. Novak, I. Solonevich, I. Shafarevich. The emphasis on a personal factor of leaders of the French and American revolutions is of interest. Features of formation of the constitutional systems on "evolutionary" and "revolutionary" ways of development are shown. The phenomenon of the Constitution of the USA is studied. Is set, how the development of a revolutionary situation and the first constitutional transformation affected the political life of Polish-Lithuanian Commonwealth, and the Russian Empire, the further development of world history.